



АНДРЕЙ ГРАЧЁВ

КОМПАНЬОНКА
ОПАЛЬНОГО
КНЯЗЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Андрей Грачёв

Компаньонка Опального Князя

<https://litres.ru/74434693>

Аннотация

После смерти отца Елизавета Арсеньева остаётся с дворянским именем, пустым кошельком и единственным предложением, от которого невозможно отказаться: стать компаньонкой старой княгини Вяземской в отдалённом родовом имении.

Дом Вяземских живёт тихо, чинно и страшно. Здесь не произносят лишних имён, не вспоминают старых дел и делают вид, что князь Алексей Вяземский сам выбрал добровольное затворничество. Когда-то он был блестящим офицером, надеждой рода и человеком, которому открывались двери Петербурга. Теперь он опальный хозяин собственного дома, лишённый службы, столицы, доверия и будущего. За ним наблюдают родственники, губернские власти и те, кому выгодно, чтобы князь навсегда оставался виновным.

Елизавете велено быть скромной, благодарной и не задавать вопросов. Но в женских письмах, старых альбомах, случайных обмолвках и страхе слуг она начинает видеть иную правду. Князя Вяземского не просто изгнали из света. Его имя сделали удобной могилой для чужого преступления.

Он слишком горд, чтобы просить о помощи. Она слишком хорошо знает цену молчанию, чтобы отвернуться. И пока старый дворянский дом пытается сохранить свою честь, двое людей, которым запрещено верить друг другу, шаг за шагом приближаются к тайне, способной погубить не только их репутации, но и сам род Вяземских.

Содержание

Глава 1. Место при старой княгине	5
Глава 2. Дом, где не называют имён	29
Глава 3. Человек под надзором	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Глава 1. Место при старой княгине

Письмо от княгини Вяземской пришло в тот день, когда в доме Арсеньевых перестали топить вторую печь.

Не потому, что окончательно наступила весна, — до весны было ещё далеко, март стоял мокрый, серый, с ветром, который будто нарочно искал щели в рамах, подбирался к полу и трогал за ноги тех, кто имел неосторожность задержаться в гостиной. Печь в малой спальне Елизавета велела не растапливать из расчёта, хотя сама не любила этого слова. Расчёт был для людей, у которых ещё оставались средства, выбор и завтрашний день, поддающийся разумному устройству. У Елизаветы Петровны Арсеньевой после смерти отца остались несколько платьев, две шали, коробка с письмами матери, серебряная ложечка с потёртым вензелем и дворянское имя, которое невозможно было заложить даже самому терпеливому ростовщику.

Имя, впрочем, тоже потеряло прежнюю цену. Оно звучало хорошо, когда его произносили в гостиных: Арсеньевы, старый служилый род, честные люди, не богачи, но с достоинством, отец покойный Пётр Андреевич служил когда-то при канцелярии, имел знакомства, читал по-французски не хуже университетского профессора и никогда не брал лишнего. Всё это говорилось приятными голосами, с тем выражением лица, какое люди принимают у гроба или при разго-

воре о чужом несчастье. Но после слов о честности обычно следовала пауза. В этой паузе жило всё, о чём при Елизавете не говорили прямо: внезапная отставка отца, невыясненное дело, бумаги, которые будто бы исчезли у него из рук, деньги, которых он не видел, но за которые расплачивался до самой смерти, и те двери, что одна за другой закрылись перед семьёй Арсеньевых так бесшумно, будто за ними не стояли живые люди.

Сначала умерла мать, уставшая ждать оправдания мужа. Потом отец, переживший её всего на два года. Потом продали дом, который и домом-то уже трудно было назвать, — половина комнат давно пустовала, мебель ушла к соседям, книги разошлись по рукам, а старый сад за окном зарос так, словно хотел поскорее скрыть следы семьи, когда-то выходившей туда пить чай в тени лип. Елизавета перебралась к дальней родственнице, Аграфене Никитичне Лопухиной, женщине сухой, набожной и совершенно убеждённой, что бедность является испытанием, особенно полезным для других. Аграфена Никитична не была жестока, но в её добродетели имелся порядок: бедного родственника следовало накормить, пристроить и как можно скорее избавить от привычки думать, будто он всё ещё принадлежит к прежнему кругу.

Письмо лежало на столике у окна, прижатое к подсвечнику, чтобы сквозняк не унёс его на пол. Бумага была плотная, с лёгким желтоватым оттенком, печать — тёмно-вишнёвая,

надломленная ровно посередине. Аграфена Никитична уже успела его прочесть, хотя адресовано оно было не ей, а именно Елизавете Петровне Арсеньевой. Это обстоятельство не смутило родственницу ни на мгновение. В её доме все письма сначала проходили через её руки, потому что, как она любила повторять, молодая женщина без отца и мужа нуждается не в тайнах, а в руководстве.

— Милость Божия, — сказала Аграфена Никитична, когда Елизавета вошла в гостиную и, поклонившись, остановилась возле стула. — Или, по крайней мере, случай, которым грешно пренебречь.

Елизавета не сразу ответила. Она посмотрела на письмо, на знакомый уже ей осторожный восторг родственницы, на холодный самовар, который в этот час обычно не ставили из экономии, и поняла, что речь идёт не о визите и не о приглашении погостить. Так радовались не удовольствию. Так радовались выходу из затруднения.

— От кого письмо, тётушка? — спросила Елизавета спокойно, хотя Аграфена Никитична приходилась ей не тёткой, а какой-то двоюродной роднёй по материнской линии, настолько дальней, что родство это вспоминалось только в нужде.

— От княгини Марии Павловны Вяземской, — ответила Аграфена Никитична, и в голосе её прозвучало уважение, невольно приданное не человеку, а титулу. — Она ищет к себе в дом особу благородного происхождения, грамотную,

скромную, не юную уже, чтобы состояла при ней. Читала, сопровождала, помогала с письмами, наблюдала за мелочами, какие в больших домах всегда есть и какие прислуге поручить неудобно.

Елизавета молчала. Слово “не юную” коснулось её неприятнее, чем следовало бы. Ей было двадцать девять лет, возраст не старый, но в положении бедной дворянки без приданого и без защиты он уже казался обществу чем-то почти окончательным. В двадцать лет такой женщине могли ещё предсказывать судьбу. В двадцать пять — советовали терпение. После двадцати восьми её начинали устраивать, как устраивают вещь, которая хороша, полезна, но не имеет уже самостоятельной цены.

— Компаньонкой? — уточнила Елизавета.

— Именно, — сказала Аграфена Никитична. — Не гувернанткой, что тебе, при твоём воспитании, было бы унизительно, хотя, признаться, и этим местом теперь пренебрегать не приходится. Не приживалкой в дурном смысле слова. При старой княгине. Особа доверенная, благородная, приличная. Жалованье скромное, но содержание полное. Комната, стол, экипаж при надобности, церковь, книги. Для тебя, Лиза, это спасение.

Елизавета взяла письмо. Почерк был старческий, крупный, но твёрдый, будто рука, выводившая буквы, привыкла повелевать даже тогда, когда пальцы уже начинали подводить. Княгиня Мария Павловна писала не много. Она сооб-

щала, что слышала от Аграфены Никитичны о добром воспитании Елизаветы Петровны, о её познаниях в языках, о скромности характера и о несчастных обстоятельствах, постигших её семейство. Вяземская просила приехать без промедления, если предложение будет принято, ибо здоровье её не позволяет оставаться без постоянного женского общества, а прежняя компаньонка, по семейным причинам, должна была покинуть имение. В конце письма стояло несколько слов о том, что в доме Вяземских ценят тишину, порядок и умение не вмешиваться в дела, к которым человек не призван.

Последняя фраза была написана чуть медленнее остальных. Чернила в одном месте расплылись, будто перо задержалось на бумаге.

— Что вы знаете о княгине? — спросила Елизавета, возвращая письмо не сразу, а продолжая держать его в руках.

Аграфена Никитична поджала губы. Она не любила вопросов, за которыми могла скрываться возможность отказа.

— Стариннейший род, большое имение, связи, хотя теперь, говорят, живут уединённо, — ответила она. — Мария Павловна урождённая Оболенская, если не ошибаюсь, женщина строгих правил. Вдовствует давно. Старший сын, Алексей Сергеевич, служил, имел блестящие виды, но по некоторым обстоятельствам оставил столицу. Младший, Сергей Сергеевич, кажется, ведёт хозяйство. Более тебе знать на первых порах и не нужно.

Елизавета подняла глаза.

— По каким обстоятельствам князь Алексей оставил столицу?

Аграфена Никитична посмотрела на неё так, как смотрят на ребёнка, взявшего со стола нож для бумаги не за тот конец.

— Вот именно от таких вопросов, Лиза, тебе надлежит отучиться, — сказала родственница с назидательной мягкостью. — Ты едешь в чужой дом не судить его хозяев. Тебе предлагают кров, положение и жалованье. В наше время, при твоих обстоятельствах, это не просто предложение. Это милость.

Слово “милость” опять встало между ними, высокое, холодное, очень удобное для того, кто её оказывает или передаёт. Елизавета давно заметила, что милостью чаще всего называли сделку, в которой одна сторона не имела права торговаться. Она могла бы сказать это вслух, но промолчала. Отец когда-то учил её, что достоинство человека проявляется не в том, сколько резких слов он умеет произнести, а в том, сколько лишних слов он умеет удержать.

— Когда нужно ехать? — спросила она.

Аграфена Никитична впервые за весь разговор улыбнулась почти ласково.

— Через три дня за тобой пришлют экипаж до почтового тракта. Дальше княгиня распорядилась переменой лошадей. Видишь, всё устроено как нельзя приличнее. Я напишу ответ

сегодня же.

— Я сама напишу, — сказала Елизавета.

Родственница на мгновение нахмурилась, но спорить не стала. В этой малой уступке было что-то вроде прощально-го подарка. Елизавета поняла: в доме Аграфены Никитичны она уже почти не живёт. Её место здесь освобождено прежде, чем она успела собрать вещи.

Три дня прошли быстро, но не потому, что были наполнены хлопотами. Вещей у Елизаветы оказалось слишком мало для настоящих сборов. Два тёмных платья, одно серое, перешитое из материнского, дорожная пелерина, бельё, молитвенник, французский томик Расина с пометками отца, несколько писем, которые она не могла оставить, хотя они не имели никакой пользы. Аграфена Никитична подарила ей старые перчатки, ещё крепкие, но с заметно растянутыми пальцами, и шерстяной платок, говоря при этом, что в деревенских домах, как ни топи, всегда тянет от стен. Старый дворовый человек, приставленный помочь с сундуком, поднял его одной рукой и этим окончательно подтвердил Елизавете, как мало осталось от её прежней жизни.

Утром отъезда шёл мелкий снег с дождём. Такой снег не ложился на землю, а только пачкал воздух, делал лица прохожих усталыми, а городские крыши — низкими и неприветливыми. Аграфена Никитична перекрестила Елизавету в передней, велела писать не реже раза в месяц и, уже понизив голос, посоветовала быть благоразумной. Под благоразуми-

ем она понимала не добродетель, а искусство занимать как можно меньше места.

— Помни, Лиза, — сказала она, поправляя на плечах Елизаветы платок, — бедной женщине благородного происхождения прощают многое, кроме гордости. Гордость в богатой — характер, в бедной — неблагодарность.

Елизавета выслушала это без возражений. Она поцеловала родственнице руку, поблагодарила за приют и вышла к экипажу. Внутри не было ни слёз, ни облегчения. Только странная пустота, какая бывает в комнате после того, как из неё вынесли большую мебель: вроде бы стало просторнее, но жить там уже нельзя.

До первого почтового двора её вёз нанятый возница, молчаливый мужик с красными от ветра глазами. Дорога раскисла, колёса вязли в грязи, лошади фыркали и иногда останавливались сами, будто желали подумать, стоит ли продолжать это предприятие. Елизавета сидела, придерживая рукой небольшой саквояж, и смотрела на поля, на тёмные полосы перелесков, на деревни, где из труб тянулся дым. Мир за окном был беден, привычен и огромен. Она вдруг подумала, что женская судьба похожа на такую дорогу: тебя везут по ней люди, которым всё равно, хочешь ли ты ехать, но если ты выпрыгнешь, то останешься одна среди грязи, без крова и без объяснений.

На почтовом дворе её ждал экипаж Вяземских. Не новый, но крепкий, широкий, с потемневшим гербом на двер-

це. При нём находились кучер в старой ливрее и седой лакей, который поклонился Елизавете с той мерой почтительности, какая полагалась благородной особе без состояния: вежливо, но без излишней поспешности.

— От княгини Марии Павловны, барышня, — сказал лакей, принимая её сундук. — Велено доставить вас к вечеру на Берёзовый стан, а завтра, Бог даст, к обеду будем в Вяземском.

— Дорога дурная? — спросила Елизавета.

— Дорога как дорога, — ответил лакей, избегая прямого суждения о том, что зависело от Бога, губернатора и ямщиков. — Весна нынче мокрая. Зато разбойников в этих местах не водится, а коли и водятся, к княжескому гербу не полезут.

Он сказал это без улыбки, и Елизавета не поняла, была ли в его словах гордость или привычка повторять старое убеждение, давно уже утратившее силу. Княжеский герб на дверце экипажа действительно ещё можно было различить, но краска местами облупилась, а золото потускнело. Гербы, как и имена, требовали ухода. Оставленные без него, они не исчезали сразу, но начинали походить на воспоминание о власти.

Первые часы пути прошли в молчании. Лакей сидел напротив, сложив руки на набалдашнике трости, которую держал больше для вида, чем для надобности. Он представился Гаврилой Ивановичем, бывшим камердинером покойного князя Сергея Николаевича, отца нынешних Вяземских. По

его манере говорить Елизавета поняла, что он прожил в доме долго и считал себя не просто слугой, а частью его памяти. Такие люди редко рассказывают правду прямо. Они берегут её, как старое серебро: показывают только тем, кого сочтут достойным, и то не всю.

На второй станции, где меняли лошадей, Елизавета услышала о Вяземских впервые не из уст человека, связанного с домом. Станционный смотритель, толстый, суетливый, с лицом, на котором любопытство давно победило осторожность, узнал герб на экипаже и сразу переменялся. Он стал почтительнее с Гаврилой Ивановичем, приказал мальчишке подать кипятку “для барышни из княжеского экипажа” и, пока Елизавета сидела в небольшой комнате у печи, завёл разговор с другим проезжим, не настолько тихо, чтобы его нельзя было услышать.

— К Вяземским, значит, — сказал смотритель, отхлебнув чай из блюдца. — Давно к ним чужих не возили. Прежде-то, говорят, дом был на всю губернию: балы, охоты, музыка, французы какие-то жили. А теперь тихо. Тише монастыря, прости Господи.

— Старуха княгиня жива ещё? — спросил проезжий, сухой человек в заячем тулупе, по виду мелкий чиновник или отставной канцелярист.

— Жива, куда ей деваться, — ответил смотритель. — Такая, говорят, и смерть прежде примет по всей форме, с докладом и разрешением. А вот старший князь... тот, сказыв-

вают, совсем нелюдим стал.

Елизавета опустила глаза на чашку, но слушать не перестала.

— Это который под делом был? — спросил проезжий.

Смотритель покосился на дверь, за которой хлопотал Гаврила Иванович, и голос его стал ниже, но не настолько, чтобы любопытство уступило страху.

— Этого я не знаю и знать не желаю, — сказал он с той поспешностью, какая обычно означает обратное. — Наше дело лошадей давать. Только прежде его сиятельство в Петербурге служили, при больших людях бывали, а после вернулись — и всё. Ни в столицу, ни за границу, ни на воды. В имении сидят. Коли господа сами молчат, стало быть, и нам языки беречь следует.

Проезжий хмыкнул.

— Когда господа молчат, значит, дело было не простое.

— А простые дела до князей не доходят, — заметил смотритель и, увидев, что Елизавета подняла голову, мгновенно сменил выражение лица. — Не угодно ли ещё кипятку, барышня?

— Благодарю, не нужно, — ответила Елизавета.

Она сказала это ровно, но внутри у неё возникло неприятное чувство. Не страх ещё, нет. Скорее ощущение, что она приблизилась к дому, вокруг которого за много лет образовался круг чужих слов. Каждый бросал в этот круг свой камешек: “дело”, “опала”, “нелюдим”, “молчат”. Камешки бы-

ли маленькие, но вода от них расходилась всё шире.

Когда они снова тронулись, Гаврила Иванович некоторое время молчал, а потом вдруг сказал, не глядя на Елизавету:

— Станционные люди много говорят от скуки, барышня. Дорога длинная, новости редки, вот и кормятся слухами.

— Я не спрашивала их, — ответила Елизавета.

— Это хорошо, что не спрашивали, — сказал лакей. — В больших домах спрашивать надобно не прежде, чем поймёшь, кто от ответа выиграет.

Елизавета взглянула на него внимательнее. Он сидел всё так же прямо, лицо его оставалось почтительным и почти неподвижным. Но фраза была слишком разумна для случайного нравоучения.

— А в доме княгини Марии Павловны многие выигрывают от ответов? — спросила она.

Гаврила Иванович чуть заметно шевельнул седыми бровями.

— В доме её сиятельства, барышня, каждый давно знает своё место, — сказал он после небольшой паузы. — Оттого и порядок держится.

Больше он ничего не добавил.

К вечеру небо потемнело, хотя солнца за весь день почти не было видно. На Берёзовом стане Елизавете отвели небольшую комнату с низким потолком, чистой постелью и запахом сушёных трав. Ночевать в дороге ей приходилось и прежде, когда отец ещё возил семью к родственникам, но то-

гда всякое неудобство казалось приключением, потому что рядом были родные голоса. Теперь тишина комнаты давила иначе. За стеной кашляла какая-то женщина, во дворе ругались ямщики, ветер стучал ставней, и всё это не нарушало одиночества, а только подчёркивало его.

За ужином к ней посадили пожилую даму, ехавшую к дочери в соседний уезд. Дама была из тех провинциальных дворянок, которые знают родословные окрестных семей лучше, чем собственные счета, и потому чувствуют себя вправе судить всех с высоты памяти. Узнав, что Елизавета направляется к Вяземским, она оживилась.

— К Марии Павловне? — переспросила она, отодвигая блюдо с вареньем. — Ах, бедное дитя, простите, я говорю не из дурного чувства. Дом старинный, спору нет. Но тяжёлый. В таких домах стены помнят больше, чем люди готовы вынести.

— Я еду служить при княгине, — сказала Елизавета, не желая поддерживать разговор о тайнах.

— Служить? — дама мягко поморщилась. — Нет, нет, милая, дворянка не служит в таком смысле. Вы будете состоять при ней. Это иное дело. Хотя, признаюсь, иногда различие существует только для того, чтобы нам не было слишком горько.

Она сказала это не зло, и Елизавета вдруг почувствовала к ней невольную симпатию. В отличие от Аграфены Никитичны, эта женщина не пыталась подсластить положение слова-

ми о милости. Она видела вещь такой, какой она была, но по привычке прикрывала её кружевной салфеткой приличия.

— Вы знали княгиню? — спросила Елизавета.

— Все знали княгиню Вяземскую, когда она ещё выезжала, — ответила дама. — Высокая женщина. Не ростом только — всем существом. При ней молодые барыни спины выпрямляли, а мужчины вспоминали, что у них есть мундир или хотя бы чин. Она из тех старых женщин, которые не просят уважения, потому что считают его естественным налогом, собираемым в их пользу. Но судьба её не пощадила.

— Вы говорите о князе Алексее Сергеевиче? — осторожно спросила Елизавета.

Пожилая дама посмотрела на неё с живым интересом.

— Вам уже говорили о нём?

— Только то, что он живёт уединённо.

— Уединённо, — повторила дама и вздохнула. — Какое удобное слово. Им прикрывают всё: болезнь, позор, горе, гордость, иногда даже наказание. Алексей Сергеевич был редким человеком. Я видела его в Петербурге, когда он был ещё совсем молод, но уже держался так, будто родился старше своих лет. Не красавец в пустом смысле, нет. Скорее опасный человек для всякой гостиней: слишком много понимал и слишком мало притворялся, что не понимает. Такие мужчины нравятся женщинам до беды и раздражают мужчин до ненависти.

— И что с ним произошло? — спросила Елизавета.

Дама помедлила. В её лице боролись осторожность и удовольствие рассказчицы, получившей благодарную слушательницу.

— Я знаю только слухи, а слухи, душенька, имеют дурную привычку переживать тех, кто мог бы их опровергнуть, — сказала она наконец. — Говорили о неблагонадёжных знакомствах, о каких-то бумагах, о ссоре с важным человеком. Говорили и о женщине, конечно. Без женщины общество не признаёт мужского падения достаточно занимательным. Потом князь исчез из столицы. Не громко, без процесса, без газетной грязи. Просто перестал бывать там, где прежде его ждали. Это иногда хуже суда.

— Почему хуже? — спросила Елизавета.

— Потому что после суда остаётся приговор, а после молчания — власть всякого встречного придумывать свой, — ответила дама. — Но вы, милая, если позволите совет, не ищите в Вяземском доме объяснений. Старые роды похожи на старые колодцы. Сверху камень, мох, ведро на цепи, всё чинно. А заглянешь вниз — и не знаешь, вода там или чья-нибудь смерть.

На следующее утро Елизавета проснулась рано. За окном стоял белёсый рассвет, земля была припорошена ночным снегом, но под колёсами снова чернела грязь. Гаврила Иванович уже ждал её у экипажа. Он сообщил, что до Вяземского осталось не более пяти часов, если лошади не устанут и мост через речку не размыло окончательно. В его голосе

была та сдержанная уверенность, которую дают не хорошие дороги, а привычка к плохим.

Чем ближе они подъезжали к имению, тем заметнее менялась местность. Поля становились шире, деревни — больше, на пригорках попадались каменные церкви с облупившейся побелкой, а вдоль дороги всё чаще тянулись старые липы, посаженные, должно быть, ещё при деде нынешнего князя. В одной деревне бабы у колодца перестали говорить, когда увидели экипаж. В другой мальчишки побежали следом, выкрикивая что-то про княжеских лошадей, пока старик не прикрикнул на них так резко, будто они совершили неприличие. Елизавета заметила, что герб Вяземских здесь узнавали сразу. Его уважали, но не радовались ему.

На последней станции кучер сошёл проверить сбрую, и Гаврила Иванович ненадолго вышел. Елизавета осталась в экипаже одна, приоткрыв дверцу, чтобы впустить свежий воздух. Рядом, у крыльца, двое мужиков спорили о цене овса. Один, молодой, широкоплечий, с наглым лицом, кивнул в сторону экипажа.

— В Вяземское опять кого-то везут, — сказал он. — Небось, старухе читать. У них там, говорят, живые только читают да молчат.

Второй, постарше, оглянулся и шикнул на него.

— Ты про княжий дом языком не мели, Федька. Там и без тебя хватает ушей.

— А что я сказал? — не унимался молодой. — Разве

не правда? Старый князь помер, старуха молится, младший считает, старший по ночам ходит. У них, говорят, сам барин человеку в глаза посмотрит — и тот потом неделю крестится.

— Дурак ты, — сказал старший уже тише. — Алексей Сергеевич хоть и страшный, а не худший из них. Худшие всегда улыбаются.

Он заметил взгляд Елизаветы и тут же снял шапку. Молодой тоже смутился, отступил и уставился в землю. Через минуту вернулся Гаврила Иванович, дверца закрылась, экипаж тронулся, но сказанное осталось с Елизаветой. “Худшие всегда улыбаются”. В этой грубой мужицкой фразе было больше смысла, чем во многих приличных предупреждениях.

К полудню небо прояснилось. Снег растаял на открытых местах, но в тени леса ещё лежал тонкой серой каймой. Дорога вошла в длинную берёзовую аллею. Деревья стояли старые, высокие, с чёрными отметинами на белой коре, словно кто-то много лет назад провёл по ним огнём. За аллеей открылся пруд, покрытый тусклым льдом у берегов, потом каменный мост с львиными мордами на столбах, одна из которых была отбита, и наконец сам дом.

Елизавета невольно выпрямилась.

Дом Вяземских стоял на невысоком подъёме, широко раскинув два крыла, с колоннами, потемневшими от времени, и длинным рядом окон, в которых отражалось холодное небо. Он был велик не той нарядной величиной, какой хвастаются новые богатые усадьбы, а старой, тяжёлой, почти государ-

ственной. В нём чувствовалась не роскошь, а порядок, переживший тех, кто его создавал. Перед подъездом темнел круглый цветник, сейчас пустой, с голыми кустами роз, обрезанными так низко, будто садовник не верил в их возвращение. По сторонам стояли флигели, каретный сарай, конюшни, людские избы — целый маленький мир, подчинённый главному дому и потому казавшийся таким же притихшим.

Но тишина эта была не покойной. Елизавета почувствовала это прежде, чем смогла объяснить себе. В одних домах тишина бывает от достатка, в других — от запустения. Здесь она была от приказа. Казалось, люди, стены, даже деревья у подъезда привыкли говорить вполголоса.

Когда экипаж остановился, на крыльце уже ждали. Дворецкий, высокий старик с гладко выбритым лицом, две горничные, мальчик-лакей, державший наготове плед, и женщина лет шестидесяти в тёмном платье с ключами у пояса. Эта женщина смотрела не суетясь и не кланяясь заранее. В её лице была власть особого рода — не господская, а хозяйственная, выслуженная десятилетиями и потому почти несокрушимая. Елизавета сразу поняла, что это экономка.

Гаврила Иванович помог Елизавете выйти. Сапожок её коснулся мокрого камня, и в это мгновение она ощутила, что дорога закончилась. Не жизнь прежняя, не неопределённость, не ожидание ответа, а именно дорога. Теперь начиналось то, от чего уже нельзя было отступить, не потеряв последнего приличия.

— Елизавета Петровна Арсеньева? — спросил дворецкий, поклонившись.

— Да, — ответила она.

— Её сиятельство ожидает вас после отдыха, — сказал он. — С дороги вам приготовлена комната. Позвольте принять вещи.

Экономка приблизилась на шаг и тоже поклонилась, но её поклон был короче.

— Пелагея Степановна, — представилась она. — По дому ко мне обращайтесь, коли что потребуется. Комната ваша в правом крыле, рядом с покоями её сиятельства, чтобы по ночам далеко не ходить. Чай подадут сейчас. Сундук принесут следом.

— Благодарю вас, — сказала Елизавета.

Она уже хотела подняться на крыльцо, но в этот миг что-то заставило её оглянуться на дом. Возможно, блеск стекла. Возможно, движение занавески. В верхнем этаже, почти у самого угла левого крыла, в высоком окне стоял мужчина.

Он был далеко, и Елизавета не могла разглядеть лица. Только тёмную фигуру, неподвижную на фоне тусклого стекла. Мужчина не отёрнул занавеску, не сделал вид, что оказался там случайно. Он стоял прямо, будто не смотрел вниз, а принимал донесение о прибытии нового человека в крепость. В этой неподвижности было столько уверенности, что Елизавета сразу поняла: это не слуга и не гость.

— Князь Алексей Сергеевич? — тихо спросила она, не

подумав, что вопрос обращён к экономке.

Пелагея Степановна проследила за её взглядом. Лицо её не изменилось, но глаза стали холоднее.

— Его сиятельство редко выходит к приезжим, — сказала она после маленькой паузы. — У князя свои часы, свои привычки и свои причины.

Мужская фигура в окне исчезла. Не резко, не испуганно, а так, словно человек увидел всё, что хотел, и больше не считал нужным оставаться.

Елизавета вошла в дом.

Внутри Вяземское оказалось ещё больше, чем снаружи. Широкий вестибюль с каменным полом, портреты в потемневших рамах, лестница, уходящая наверх двумя плавными рукавами, высокие двери, зеркала, в которых отражалась не столько Елизавета, сколько пустота за её плечами. Воздух пах воском, старым деревом, лекарствами и чем-то едва уловимым — может быть, лавандой, которой перекладывали бельё в шкафах. Всё было чисто, но не свежо. Дом не умирал, нет. Он сохранялся. Разница между жизнью и сохранностью стала для Елизаветы особенно ясной именно здесь.

Пока её вели по коридору правого крыла, она успела заметить несколько деталей: закрытую дверь, у которой почему-то лежал коврик новее остальных; портрет молодого офицера в кирасе, повёрнутый чуть в сторону, будто его недавно снимали и повесили обратно небрежно; горничную, поспешно умолкшую при виде Пелагеи Степановны; старые

часы, остановившиеся на половине третьего, хотя в доме, несомненно, были люди, обязанные заводить часы. Мелочи. Но Елизавета привыкла доверять мелочам. Большие слова слишком часто произносились ради обмана, а мелочи выдавали то, что люди забывали спрятать.

Комната, отведённая ей, была невелика, но удобна. Кровать с белым покрывалом, письменный столик у окна, узкий шкаф, кресло, умывальник, икона в углу. Из окна виден был боковой сад: голые яблони, дорожка, беседка с облупившейся зелёной краской и дальше — кусок пруда. На столике стояла ваза с сухими цветами. Кто-то поставил её из приличия, не подумав, что сухие цветы в комнате новой жилички похожи не на приветствие, а на напоминание.

Пелагея Степановна распорядилась поставить чай, дождалась, пока горничная выйдет, и только тогда повернулась к Елизавете. Теперь они остались вдвоём, и экономка могла говорить без свидетелей.

— Её сиятельство почивают после капель, — сказала она. — К четырём часам вас позовут. Мария Павловна любит, чтобы читали ясно, не торопясь, без театральности. Письма, какие велит, будете писать под её диктовку. Сами от себя ничего в письмах не прибавлять. В доме заведён порядок: к завтраку спускаются те, кто приглашён, к обеду — по распоряжению. В левое крыло без надобности не ходить. В старую библиотеку без разрешения не входить. С прислугой лишнего не говорить. Вопросов о семейных делах не задавать.

Она произносила это не грубо, но так, будто читала не правила для новой компаньонки, а условия пребывания в месте, где ошибка может стоить дороже, чем кажется.

— Я понимаю, — ответила Елизавета.

Экономка посмотрела на неё внимательно, и в этом взгляде впервые мелькнуло что-то похожее не на строгость, а на усталую жалость.

— Понимать будете после, барышня, — сказала Пелагея Степановна. — Сперва запомните.

Елизавета сняла перчатки и положила их на стол. Пальцы у неё замёрзли, но она не подошла к печи. Ей почему-то показалось важным выслушать всё стоя, не устраиваясь в комнате как дома. Дом этот ещё не принял её. А может быть, и не собирался.

— Есть ли что-нибудь ещё, что мне следует знать? — спросила она.

Пелагея Степановна помолчала. За дверью слышались шаги, потом стихли. Где-то далеко, должно быть в парадной части дома, закрылась тяжёлая дверь. Экономка чуть наклонила голову, словно прислушиваясь не к звуку, а к самому дому.

— Есть, — сказала она наконец. — При княгине служите, барышня. Её сиятельство стара, но ум у неё острый, и память, когда не мутится, крепче нашей с вами. Её воля в доме всё ещё много значит. Коли угодите ей честно, место ваше будет спокойное.

Она сделала небольшую паузу. Елизавета уже знала, что главное прозвучит после неё.

— А князя Алексея Сергеевича лучше не замечать, коли сами жить спокойно хотите, — добавила экономка тише. — Не потому, что он дурной человек. Этого я не говорила и не скажу. А потому, что в нашем доме всякий, кто начинает замечать его сиятельство, вскоре замечает и то, чего ему замечать не положено.

Елизавета встретила её взгляд.

— А если он сам заговорит со мной? — спросила она.

Пелагея Степановна не удивилась вопросу. Вероятно, ждала его.

— Тогда отвечайте, как подобает, — сказала она. — Почтительно, коротко и без страха. Страху князь Алексей Сергеевич не терпит. Жалости — тем более. Но лучше, чтобы он с вами не заговорил.

— Почему?

Экономка вздохнула, и этот вздох вдруг сделал её старше.

— Потому что у нас в доме, Елизавета Петровна, всякое слово имеет свидетеля. Даже то, которое сказано вполголоса.

Она поклонилась и вышла, оставив Елизавету одну среди чужой мебели, сухих цветов и тишины, которая теперь уже не казалась пустой. В ней действительно были свидетели. Шаги за стеной, скрип половиц, далёкий звон посуды, шёпот горничных, неподвижная мужская фигура в верхнем окне, слухи на станциях, осторожность лакея, слова старой попут-

чицы — всё это сошлось вокруг неё, как невидимая сеть.

Елизавета подошла к окну. В саду никого не было. Голые ветви яблонь чертили по серому небу тонкие, дрожащие линии. За прудом виднелась дорога, по которой она приехала, но отсюда та казалась уже не выходом, а частью пейзажа, принадлежащего имению. Она подумала об отце, о его последних днях, о том, как он лежал в маленькой комнате с закрытыми шторами и всё повторял, что правда иногда не исчезает, а только ждёт человека, которому хватит терпения её услышать. Тогда Елизавета решила, что это слова больного, которому нужно верить из любви, а не из разума.

Теперь, стоя в доме Вяземских, она впервые за долгое время вспомнила их иначе.

На столе остывал чай. В коридоре кто-то остановился у её двери и почти сразу пошёл дальше. Елизавета не обернулась. Она смотрела на верхние окна левого крыла, но отсюда не могла видеть то, возле которого стоял князь Алексей Сергеевич. И всё же ей казалось, что дом смотрит на неё именно оттуда.

Она приехала быть тихой, полезной и благодарной. Так было написано между строк письма, так советовала Аграфена Никитична, так требовала её новая зависимая жизнь. Но в первый же час в Вяземском Елизавета поняла: иногда человеку велят не задавать вопросов не потому, что ответы ему не принадлежат, а потому, что ответы уже давно боятся выйти на свет.

Глава 2. Дом, где не называют имён

К четырём часам за Елизаветой пришла горничная.

Девушка была совсем молода, лет семнадцати, с круглым лицом, светлыми ресницами и такой торопливой осторожно-стью в движениях, какая появляется у людей, привыкших не столько служить, сколько угадывать. Она постучала в дверь тихо, почти извиняясь перед самым деревом, вошла после ответа Елизаветы и, присев в поклоне, сообщила, что её сиятельство княгиня Мария Павловна изволят принять новую компаньонку. Слово “изволят” прозвучало у неё не как обычная слугаческая формула, а как напоминание о законе, которому подчинялся весь дом. Здесь не просто просили прийти. Здесь дозволяли быть представленною.

Елизавета успела переменить дорожное платье на тёмно-серое, самое приличное из оставшихся. Оно было скромно, почти сурово, но хорошо сидело по фигуре и ещё хранило следы прежней заботы: мать когда-то умела выбирать ткани, которые старели достойно. Волосы Елизавета убрала гладко, без локонов у висков, чтобы не казаться ни кокетливой, ни старше своих лет. В доме, где ей предстояло занимать промежуточное положение между роднёй и прислугой, всякая мелочь могла быть истолкована против неё. Слишком нарядна — хочет обратить на себя внимание. Слишком бедна — напоминает о своём несчастье. Слишком молчалива —

горда. Слишком приветлива — ищет покровительства.

Горничная повела её по коридору правого крыла. Днём дом казался не менее мрачным, чем при первом взгляде, но теперь Елизавета начала различать в нём не только тяжесть, но и устройство. Здесь всё было расположено так, чтобы жизнь старой княгини оставалась центром, вокруг которого обращались остальные. Её покои занимали несколько комнат в правом крыле: гостиная для утреннего чая, спальня, малый кабинет, молельная, комната для женщины, состоящей при ней, и ещё две двери, назначения которых Елизавета пока не знала. В коридоре пахло лекарственными каплями, воском, сухими травами и старой обивкой. На стенах висели портреты женщин в высоких причёсках и мужчин в мундирах прежних царствований; все они смотрели так, будто видели не проходящих по коридору, а будущее, которое по их мнению должно было послушно повторять прошлое.

Перед дверью малой гостиной горничная остановилась, поправила передник, будто это могло прибавить ей храбрости, и постучала громче, чем стучала к Елизавете. Изнутри послышался низкий женский голос:

— Войдите.

Горничная открыла дверь и почти сразу отступила в сторону.

— Елизавета Петровна Арсеньева, ваше сиятельство, — произнесла она и исчезла так быстро, словно после этого имени ей уже нельзя было оставаться в комнате.

Малая гостиная княгини была просторнее, чем комната Елизаветы, но не парадна. В ней чувствовалась долгая ежедневная жизнь: столик с лекарствами, кресло с высокой спинкой, подставка для ног, несколько книг с закладками, корзинка с рукоделием, хотя нитки в ней лежали так нетронуты, будто рукоделие служило только знаком женского порядка. У окна стояла ширма, расписанная китайскими птицами, потемневшими от времени. В углу перед иконами горела лампада. На стене напротив кресла висел большой портрет мужчины средних лет с властным, красивым лицом; должно быть, покойный князь, муж Марии Павловны. Его взгляд в тишине комнаты казался почти живым, но не ласковым: такой человек и после смерти продолжал требовать отчёта.

Княгиня Мария Павловна сидела в кресле у камина, где огонь был разведен не столько для тепла, сколько по привычке к полному устройству комнаты. Она оказалась не такой высокой, как представляла Елизавета, слушая рассказы попутчицы, но в её посадке, в положении головы, в неподвижных руках, лежавших на подлокотниках, была высота, не зависящая от роста. Её лицо сохранило правильность черт, хотя возраст иссушил его и сделал кожу почти прозрачной. Седые волосы были убраны под кружевной чепец; на плечах лежала тёмная шаль. Глаза княгини, серые, глубокие, смотрели внимательно и властно. Старость тронула её тело, но не отняла привычки повелевать.

Рядом с креслом, чуть позади, стояла Пелагея Степановна. Она не представлялась заново и вообще держалась так, словно в присутствии княгини собственной личности не имела. Однако Елизавета заметила: экономка следит не за ней, а за хозяйкой. Не почтительно только, но и настороженно, как человек, готовый подхватить старую вазу, если та вдруг качнётся на краю стола.

— Подойдите, Елизавета Петровна, — сказала княгиня.

Голос у Марии Павловны был ниже, чем ожидалось, немного хриловатый, но не слабый. В нём слышалась та особая выучка старых аристократок, которые могли произнести самую простую фразу так, будто давали распоряжение губернии. Елизавета подошла, остановилась в двух шагах и присела в реверансе. Княгиня протянула ей руку не для поцелуя, а скорее для осмотра. Елизавета коснулась пальцами сухой старческой кожи и выпрямилась.

— Аграфена Никитична пишет о вас хорошо, — произнесла Мария Павловна. — Впрочем, Аграфена Никитична всегда пишет хорошо о тех, кого желает пристроить. Это не порок. В нашем возрасте мы все пристраиваем людей или вещи, чтобы они не лежали без пользы.

— Я постараюсь быть полезной вашему сиятельству, — ответила Елизавета.

Княгиня чуть прищурилась.

— Постараться мало. Стараются почти все, когда от этого зависит их стол. Мне нужна не старательность, а ровность. Я

не люблю суеты, жалоб, вздохов, ненужных откровенностей и женского любопытства, выдаваемого за участие. Вы читаете по-французски?

— Да, ваше сиятельство.

— По-немецки?

— Несколько хуже, но могу читать и переводить общий смысл.

— Пишете чисто?

— Думаю, да.

— Думаете или знаете?

— Знаю, ваше сиятельство, — спокойно поправилась Елизавета.

Уголок губ княгини едва заметно дрогнул. Это ещё не было улыбкой, скорее признанием того, что новая компаньонка не испугалась первого нажима и не стала оправдываться. Мария Павловна взяла со столика письмо, но тут же положила его обратно, будто решила отложить проверку.

— Ваши обязанности просты, — сказала она. — По утрам вы будете присутствовать при чае, если я не распоряжусь иначе. После чая — чтение газет или писем, какие я велю открыть. Часть переписки я диктую сама; вам надлежит записывать точно, не украшая и не смягчая. Я не терплю, когда чужая рука исправляет мою мысль из жалости к адресату. После обеда вы свободны, если не потребует здоровье или гости. Вечером — чтение. Иногда я хожу в церковь или принимаю соседей; тогда вы сопровождаете меня. За лекар-

ствами будете смотреть вместе с Пелагеей Степановной, но не распоряжаться ими. Доктор бывает дважды в неделю. Если мне сделается дурно, сперва зовёте Пелагею Степановну, потом посылаете за доктором или отцом Павлом, смотря по обстоятельствам.

Она говорила долго, ровно, будто заранее составила в уме устав маленького государства. Елизавета слушала, не перебивая. В этом перечне не было ничего необычного для положения компаньонки, но каждое правило имело тень. Письма, какие велят открыть. Лекарства, но не распоряжаться. Соседи, если принимают. Священник, смотря по обстоятельствам. Старость княгини была обставлена не только заботой, но и контролем.

— В доме, — продолжила Мария Павловна, — вы будете обращаться ко мне непосредственно. По хозяйственным мелочам — к Пелагее Степановне. По денежным вопросам — никогда, потому что у вас их здесь быть не должно. Жалованье вам будет выдаваться раз в месяц через Сергея Сергеевича или по моему распоряжению. Слугам поручений от себя не отдавайте, если они не касаются моих комнат. К мужчинам дома без надобности не обращайтесь. К гостям — сдержанно. Ваше положение прилично, пока вы сами не сделаете его двусмысленным.

Эта последняя фраза могла бы оскорбить Елизавету, если бы была сказана моложею женщиной или с явным недоброжелательством. Но княгиня произнесла её как человек, опи-

сывающий не личное подозрение, а устройство мира. Елизавета знала это устройство не хуже. Бедной дворянке легко было оступить даже там, где богатая барыня лишь позволила бы себе странность характера.

— Я понимаю, ваше сиятельство, — сказала она.

— Хорошо, если так, — ответила княгиня и вдруг переменила тон. — Ваш отец служил при канцелярии?

Вопрос был задан так внезапно, что Елизавета, приготовленная к наставлениям, почувствовала, как сердце неприятно ударило о рёбра. Она не опустила глаз, но ей потребовалось мгновение, чтобы ответить.

— Да. Пётр Андреевич Арсеньев служил до отставки.

— До отставки, — повторила Мария Павловна.

Слово повисло в воздухе, сухое, как лист, забытый между страницами. Пелагея Степановна у камина едва заметно шевельнулась. Елизавета уловила это движение и поняла, что в комнате присутствует не только память её семьи.

— Вы знали моего отца? — спросила она осторожно.

Княгиня посмотрела на неё долгим взглядом. На старческом лице не было ни смущения, ни сожаления, только какая-то мгновенная внутренняя борьба, слишком короткая, чтобы её можно было назвать чувством.

— Я знала многих людей, Елизавета Петровна, — сказала она наконец. — В моём возрасте память уже не обязана отвечать на каждый зов. О вашем отце мне писала Аграфена Никитична. Она уверяет, что вы воспитаны в правилах бла-

гочестия и скромности.

— Отец воспитывал меня прежде всего в уважении к правде, — сказала Елизавета и тотчас поняла, что ответила слишком прямо.

Мария Павловна не разгневалась. Но в её глазах появилось нечто жёсткое, похожее на задвинутый засов.

— Правда, дитя моё, — произнесла она медленно, — вещь превосходная, пока человек не начинает требовать её у тех, кто имеет право молчать. В моём доме ценится не меньшее качество — умение различать, какая правда дана тебе, а какая нет.

Елизавета склонила голову.

— Я запомню, ваше сиятельство.

— Запомните, — сказала княгиня. — Это может сохранить вам место.

На этом первое представление, видимо, было окончено. Мария Павловна велела Пелагее Степановне показать Елизавете распорядок лекарств и послать в комнату новый графин воды. Потом, будто вспомнив о приличии, спросила, не утомила ли дорога, хорошо ли устроили вещи и не нуждается ли Елизавета в чём-либо необходимом. Всё это было произнесено уже не как участие, а как проверка правильности принятого человека в дом. Елизавета отвечала кратко. Она понимала: на всякую благодарность здесь смотрят благосклонно, но чрезмерная благодарность унижает не только того, кто её произносит, но и того, кто вынужден её слушать.

Перед уходом княгиня вдруг сказала:

— Сегодня вы будете за ужином. Надлежит представить вас Сергею Сергеевичу и прочим домашним. Алексей Сергеевич, вероятно, не выйдет. Но если выйдет, не удивляйтесь.

Елизавета не спросила, чему именно не следует удивляться. После вчерашнего предупреждения Пелагеи Степановны и сегодняшней паузы перед именем князя она уже начала понимать: Алексей Сергеевич Вяземский был в этом доме не просто человеком, о котором говорили мало. Он был местом, вокруг которого дом научился обходиться.

Когда Елизавета вернулась к себе, чай на столе давно остыл, но она всё равно выпила полчашки, чтобы согреть руки и выиграть несколько минут одиночества. Разговор с княгиней оставил странный осадок. Мария Павловна была не дурной старухой из тех, кто мучает зависимых женщин ради привычки к власти. Она была чем-то сложнее и тяжелее. В её строгости чувствовалась не только гордость, но и страх, столь давний, что он успел превратиться в правило поведения. Она не просто берегла порядок. Она охраняла молчание.

К ужину Елизавету позвали в половине седьмого. В доме уже зажгли лампы, и длинные коридоры показались ей другими: днём они были холодны и официальны, вечером — почти тревожны. Огоньки отражались в полированных дверях, тени портретов ложились на стены, внизу глухо звучали шаги. Елизавета спустилась по боковой лестнице вслед за гор-

ничной и вошла в столовую, где уже собирались домашние.

Столовая была велика, но стол накрыли только на семь персон, отчего помещение казалось ещё просторнее и пустыннее. Высокие окна закрывали тяжёлые шторы, над камином висели скрещённые сабли и старый фамильный герб. На длинной стене — портреты Вяземских в мундирах, каф-танах и придворных платьях, лица одно над другим, поколение за поколением. Они словно присутствовали за столом незримыми старшими гостями и заранее осуждали всякого, кто не умел держаться соответственно.

Первым к Елизавете подошёл Сергей Сергеевич Вяземский.

Она сразу поняла, что это младший князь, хотя его никто ещё не назвал. В нём была та ровная уверенность человека, который привык встречать приезжих, сглаживать неловкости, произносить нужные слова и оставлять после себя впечатление разумности. Ему было лет тридцать пять или немного меньше; лицо приятное, чисто выбритое, с мягкими чертами, глаза светло-карие, внимательные, но не задерживавшиеся на собеседнике дольше положенного. Вся его внешность была устроена так, чтобы не вызывать сопротивления. Он не входил в комнату — он располагал её к себе. Это качество многие называли добротой, но Елизавета, дочь канцелярского человека, знавшего цену любезным голосам, не спешила с выводами.

— Елизавета Петровна, — сказал Сергей Сергеевич, кла-

няясь ей с безупречной мерой уважения. — Позвольте приветствовать вас в нашем уединении. Матушка весьма довольна, что вы уже прибыли. Надеюсь, дорога не была слишком тяжела?

— Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Дорога была сносная.

— Весной всякая дорога у нас сносна только по милости Божией и терпению лошадей, — ответил он с лёгкой улыбкой. — Но вы держитесь мужественно. Это доброе начало для жизни в Вяземском. Наш дом не любит слабых нервов, хотя, признаюсь, и не всегда заслуживает сильных.

Фраза была сказана полушутливо, но Елизавета заметила, что Пелагея Степановна, стоявшая у буфета, бросила на него быстрый взгляд. Сергей Сергеевич этого взгляда будто не заметил. Он предложил Елизавете место ближе к княгине, но не рядом с ней; это точно обозначало её положение. Ни родня, ни прислуга. Близкая к старой хозяйке, но не принадлежащая к семье.

Затем её представили управляющему Мартынову, который по своему положению не должен был сидеть за господским ужином в обычном порядке, но в Вяземском, как быстро поняла Елизавета, обычный порядок имел исключения, закреплённые годами. Иван Кузьмич Мартынов был человек лет пятидесяти, плотный, с гладким лицом, аккуратными бакенбардами и руками, которые он держал так, будто привык работать больше пером и счётами, чем землёй. Одет он был

скромно, но добротню; сюртук сидел на нём почти по-господски. В поклоне его было почтение, однако почтение не униженное, а уверенное в собственной необходимости.

— Рад служить, Елизавета Петровна, — произнёс Мартынов. — Если что потребуется по устройству, извольте передать через Пелагею Степановну или прямо мне. В большом доме сперва всё кажется сложным, но у нас заведено исправно.

— Благодарю вас, Иван Кузьмич, — сказала Елизавета.

Он посмотрел на неё слишком внимательно для первой встречи. Не дерзко, нет. Скорее оценивающе, как смотрят на новую вещь в хозяйстве: куда поставить, как часто понадобится, не принесёт ли лишних хлопот. В этом взгляде не было личной неприязни, и оттого он показался Елизавете особенно неприятным. Чужая неприязнь оставляет человеку хоть какое-то достоинство противника. Чужой расчёт превращает его в обстоятельство.

У камина сидела молодая девушка в бледно-голубом платье, почти детском по покрою, хотя самой ей было, должно быть, уже шестнадцать или семнадцать. Она поднялась, когда Сергей Сергеевич назвал её Софьей Николаевной. Племянница? Воспитанница? Княжеская родственница из боковой ветви? Елизавета пока не поняла. Девушка была хорошенькая, с тонким лицом, тёмными глазами и испуганной привычкой улыбаться прежде, чем к ней обратятся. Она присела в реверансе слишком поспешно, едва не зацепив юбкой

ножку кресла.

— Я очень рада, что вы приехали, Елизавета Петровна, — сказала Соня тихо. — Её сиятельству будет легче.

— Надеюсь быть ей полезной, — ответила Елизавета мягче, чем говорила с остальными.

Соня хотела, кажется, добавить что-то ещё, но в этот миг Сергей Сергеевич произнёс её имя с ласковой укоризной:

— Sophie, вы забыли веер у окна. Опять простудитесь, а потом отец Павел будет смотреть на нас так, будто мы язычники, оставившие ребёнка на ветру.

Соня сразу замолчала и пошла за веером. Реплика была пустяковая, почти заботливая, но Елизавета уловила в ней приказ. В этом доме распоряжались людьми не только суровыми словами. Иногда достаточно было вовремя напомнить человеку, что он ребёнок.

Последним из домашних к ужину пришёл отец Павел. Он не принадлежал к дому в прямом смысле, но держался здесь не как гость. Священник был невысок, сух, с редкими уже волосами и лицом, которое могло бы казаться простодушным, если бы не глаза. Глаза у него были внимательные, печальные и очень осторожные. В селе, вероятно, его считали добрым батюшкой, но в столовой Вяземских он казался человеком, который слишком давно слышит исповеди и потому знает: молчание бывает не менее грешным, чем ложь.

— Благословите, батюшка, — сказала Елизавета, подходя к нему после представления.

Отец Павел благословил её и произнёс:

— Бог да укрепит вас, Елизавета Петровна, на новом месте.

Слова были обычные, но он сказал их с такой тихой серьёзностью, что Елизавета невольно посмотрела на него внимательнее.

— Благодарю вас, отец Павел.

— Всякий новый дом сперва кажется чужим, — продолжил он. — А потом человек понимает, что чужим бывает не дом, а то, что в нём скрыто от любви.

Сергей Сергеевич, стоявший рядом, мягко рассмеялся.

— Батюшка у нас любит говорить притчами, — сказал он. — Мы привыкли искать в них смысл, когда поздно спохватились.

— Иногда и позднее понимание полезно, Сергей Сергеевич, — ответил отец Павел.

Он сказал это без вызова, но между мужчинами на мгновение возникла едва заметная натянутость. Елизавета запомнила и её. Она уже начинала собирать в уме первый, ещё беспорядочный рисунок дома: княгиня повелевает и боится; Сергей улыбается и направляет; Мартынов наблюдает и считает; Соня молчит, потому что её молчанию научили; отец Павел говорит осторожно, но не пусто. И где-то вне этого круга, в левом крыле, существовал князь Алексей Сергеевич, которого все называли так, будто его имя требовало перед собой внутренней оглядки.

За стол сели в строгом порядке. Во главе, в высоком кресле, устроилась княгиня Мария Павловна; по правую руку от неё Сергей, по левую — место оставалось пустым. Чуть ниже посадили Соню, отца Павла, Елизавету и Мартынова. Пустой прибор по левую руку от княгини Елизавета заметила сразу. Он стоял так же аккуратно, как остальные: тарелка, бокал, салфетка, нож и вилка, словно ждали человека, но не надеялись на его приход. Никто не объяснил его присутствия. Никто не сказал, что князь Алексей, вероятно, не будет ужинать. Пустое место просто существовало, и потому говорило громче любого объяснения.

Первые минуты разговор держался на безопасных вещах. Сергей Сергеевич расспрашивал Елизавету о дороге, отец Павел заметил, что половодье в этом году может повредить мост у нижней мельницы, Мартынов ответил, что люди уже посланы, Соня уронила ложку и покраснела так, будто совершила преступление. Княгиня ела мало, но за столом следила за всем. Иногда она останавливала разговор одним взглядом, иногда позволяла ему течь дальше. Елизавета, отвечая на вопросы, чувствовала себя не участницей ужина, а предметом тихой проверки.

— Аграфена Никитична пишет, что вы много читали с покойным отцом, — сказал Сергей Сергеевич, когда подали суп.

— Отец любил книги, — ответила Елизавета. — Он считал, что чтение помогает человеку не зависеть полностью от

обстоятельств.

— Прекрасная мысль, — сказал Сергей Сергеевич. — Хотя обстоятельства, увы, часто читают нас внимательнее, чем мы книги.

— Обстоятельства не имеют души, Сергей Сергеевич, — заметил отец Павел.

— Зато имеют последствия, батюшка, — ответил Сергей всё с той же лёгкой улыбкой.

Княгиня подняла глаза.

— За столом не спорят о душе и последствиях, — сказала она. — Особенно когда гостя только приехала и ещё не знает наших привычек.

— Простите, матушка, — произнёс Сергей Сергеевич, мгновенно склонив голову.

Елизавета заметила: он попросил прощения без малейшего раздражения, но пальцы его на мгновение сжали нож чуть крепче. Княгиня это тоже заметила или, по крайней мере, почувствовала. В её лице мелькнула та самая тень страха, которую Елизавета видела днём. Страх не перед сыном, нет. Скорее перед равновесием, которое могло нарушиться от любого неосторожного слова.

— Елизавета Петровна, — обратилась княгиня, словно желая переменить течение разговора, — вы будете завтра читать мне письма из Москвы. Почерк моей сестры с годами становится всё хуже, а мысли — всё длиннее. Это дурное сочетание.

— Как прикажете, ваше сиятельство, — ответила Елизавета.

— И ещё, — добавила княгиня, слегка повернув голову к Пелагее Степановне, стоявшей у двери, — покажите ей вечером шкаф с лекарствами. Капли доктора Бауэра давать мне после утреннего чая, а не прежде. В прошлый раз Варвара всё перепутала.

Горничная у буфета вздрогнула, хотя речь, возможно, шла не о ней. Пелагея Степановна поклонилась.

— Будет исполнено, ваше сиятельство.

— Все у нас будет исполнено, — тихо сказал Сергей Сергеевич с улыбкой, обращаясь к Елизавете. — Иначе дом Вяземских давно бы рассыпался от собственной древности.

— Дом рассыпается не от древности, Сергей, — произнесла княгиня. — От небрежения.

Снова пауза. Короткая, почти незаметная для чужого человека, но Елизавета уже начинала слышать эти паузы как отдельный язык. В доме действительно не называли некоторых имён; но не менее важно было то, что здесь не договаривали окончания фраз.

Ужин продолжался. За окнами темнело, в столовой стало теплее от свечей и блюд, но Елизавета не могла избавиться от ощущения, что пустой прибор по левую руку княгини постепенно занимает всё больше места. Никто не смотрел туда прямо. Именно поэтому туда хотелось смотреть. Соня один раз быстро скользнула взглядом к пустому стулу и тут

же опустила ресницы. Мартынов, напротив, не смотрел во все, как человек, слишком хорошо знающий, куда не следует обращать глаз. Отец Павел несколько раз прислушивался к звукам из коридора. Сергей говорил легко и много, словно его обязанностью было заполнить пространство, где могло появиться молчание.

И оно появилось.

Дверь столовой открылась без объявления.

Лакей, стоявший у входа, заметно растерялся, но не успел произнести ни слова. В комнату вошёл князь Алексей Сергеевич Вяземский.

Он оказался не таким, каким его успела вообразить Елизавета по слухам. Не призрачным затворником, не больным человеком с потухшими глазами, не романтической тенью среди фамильных портретов. Это был мужчина лет тридцати восьми или сорока, высокий, сухой, с тёмными волосами, в которых у висков уже проступала ранняя седина. Лицо его было резким, не красивым в мягком смысле слова, но запоминающимся: прямой нос, глубоко посаженные глаза, складка между бровями, губы, привыкшие сжиматься прежде, чем сказать лишнее. Одет он был просто для княжеского дома, почти сурово: тёмный сюртук без украшений, белый шейный платок, никаких перстней, кроме печатки на руке. Но в его осанке сохранилась такая явная военная выправка, что комната словно сама выпрямилась при его появлении.

Княгиня Мария Павловна не изменила положения, но её

пальцы на подлокотнике дрогнули.

— Алексей, — сказала она после мгновения молчания. — Я не знала, что ты будешь ужинать с нами.

— Я и сам не знал, матушка, — ответил князь Алексей.

Голос у него был спокойный, низкий, без хрипоты или надлома. Он говорил не громко, но каждое слово ложилось отчётливо. Елизавете пришло в голову, что так говорят люди, привыкшие отдавать приказ не криком, а уверенностью, что приказ услышат.

Сергей Сергеевич поднялся, улыбаясь.

— Мы рады, что ты передумал, брат, — сказал он. — Твой прибор, как видишь, всегда ждёт тебя.

Алексей посмотрел на него. В этом взгляде не было ни открытой вражды, ни раздражения. Только такая холодная ясность, что Сергей на мгновение замолчал, хотя улыбка осталась на его лице.

— Да, — сказал Алексей. — В нашем доме многое ждёт на своём месте дольше, чем следует.

Он подошёл к пустому стулу, поклонился матери, затем отцу Павлу, мельком — Соне, Мартынову и Елизавете. Поклон его был безукоризненным, но в нём не было желания нравиться. Он сел по левую руку от княгини, и стол сразу стал полным, хотя легче от этого не сделалось. Напротив, присутствие князя показало, как тщательно все до сих пор были расположены вокруг его отсутствия.

— Елизавета Петровна Арсеньева, — сказала княгиня по-

сле заметной паузы. — Моя новая компаньонка.

— Мне сообщили, — ответил Алексей.

Он повернул голову к Елизавете, и теперь она впервые увидела его глаза близко. Они были тёмно-серые, почти стальные, но не бесчувственные. В них чувствовалась усталость человека, который слишком долго смотрел на ложь и перестал удивляться её формам. Елизавета выдержала взгляд, хотя он был неприятен своей прямоотой. Не грубостью, а тем, что в нём почти не было светского покрывала. Князь смотрел не так, как принято смотреть на незнакомую женщину за столом. Он смотрел так, будто пытался понять, зачем её привезли в этот дом и кто от этого выиграл.

— Вы прибыли сегодня? — спросил он.

— Да, ваше сиятельство, — ответила Елизавета. — Незадолго до обеда.

— Дорога от Берёзового стана всё ещё разбита?

— Местами, — сказала она. — Но экипаж был крепкий.

— Значит, Мартынов всё же помнит, что в доме иногда принимают живых людей, а не только отчёты, — произнёс Алексей.

Управляющий Мартынов слегка поклонился.

— Я старался исполнить распоряжение её сиятельства, Алексей Сергеевич.

— Несомненно, Иван Кузьмич. Вы всегда исполняете распоряжения тех, чьи распоряжения удобно исполнять.

Сергей Сергеевич мягко вмешался:

— Алексей, едва ли Елизавете Петровне в первый день у нас интересно слушать хозяйственные колкости.

— Елизавете Петровне, возможно, полезнее с первого дня знать, что в этом доме колкости часто честнее любезностей, — ответил Алексей.

Княгиня стукнула пальцами по подлокотнику.

— Довольно, — сказала она. — За столом у меня не устраивают сцен.

Алексей склонил голову.

— Как прикажете, матушка.

Он замолчал и больше несколько минут не говорил. Но его молчание было не похоже на отсутствие. Оно давило на разговор, меняло его направление, заставляло людей осторожнее выбирать слова. Сергей Сергеевич пытался вернуть прежнюю лёгкость, заговорил о мосте, о ценах на овёс, о письме соседей Крапивиных, приглашавших княгиню на именины. Соня отвечала невпопад. Отец Павел ел мало и поглядывал то на княгиню, то на Алексея. Мартынов держался спокойно, но Елизавета видела: он стал ещё внимательнее.

Наконец Сергей обратился к ней снова:

— Елизавета Петровна, вы, кажется, родом из Тверской губернии? Или я ошибаюсь?

— Моя мать была из Тверской, — ответила Елизавета. — Последние годы мы жили ближе к Москве.

— Да, конечно, — сказал Сергей. — Арсеньевы московской ветви. Я должен был помнить.

— Вы знали мою семью? — спросила Елизавета.

Сергей Сергеевич уже открыл рот для ответа, но Алексей внезапно поднял глаза от тарелки.

— Арсеньева? — произнёс он.

В комнате сразу стало тише. Не замолчали только часы у камина, но и их ход почему-то сделался заметнее.

Алексей смотрел не на Елизавету. Он смотрел на Сергея Сергеевича, и именно это сделало вопрос страшнее. Если бы он обратился к ней прямо, это было бы обычным уточнением. Но он произнёс её фамилию так, будто поймал брата на слове.

— Вы дочь Петра Арсеньева? — спросил князь Алексей, всё ещё не отрывая взгляда от Сергея.

Елизавета почувствовала, как внутри поднялась старая, привычная боль. Не острая уже, но глубокая, как след от раны, которую слишком часто задевали неосторожными пальцами.

— Да, ваше сиятельство, — ответила она. — Петра Андреевича Арсеньева.

Алексей медленно повернулся к ней. На лице его не было ни сочувствия, ни удивления в светском смысле. Скорее подтверждение мысли, которая возникла у него раньше, чем он задал вопрос.

— Странно, — сказал он.

Сергей Сергеевич чуть подался вперёд.

— Что именно странно, Алексей?

Князь не взглянул на него сразу. Он ещё мгновение смотрел на Елизавету, и ей показалось, что в его взгляде появилось нечто иное — не мягкость, но внимание, связанное не с её нынешним положением, а с прошлым, которое он помнил.

— Мне говорили, ваш отец умер, так и не дождавшись оправдания, — произнёс Алексей.

За столом никто не пошевелился.

Соня побледнела. Княгиня Мария Павловна закрыла глаза, но только на мгновение. Отец Павел опустил ложку. Мартынов посмотрел в тарелку. Сергей Сергеевич улыбался всё так же, но улыбка теперь держалась на лице отдельно от глаз.

Елизавета услышала собственное дыхание. Оправдание. Это слово в чужих устах прозвучало как удар по двери, которую в её семье годами пытались не открывать. Все говорили: несчастье, недоразумение, служебная неприятность, болезнь, отставка, бедность. Никто не говорил — оправдание. Потому что оправдания ждут невиновные. А если человек умер, не дождавшись его, значит, кто-то знал, что оно было нужно.

— Алексей, — сказала княгиня Мария Павловна.

В её голосе впервые за вечер прозвучала не власть, а предупреждение. Князь услышал его, но не отвёл взгляда.

— Простите, матушка, — произнёс он. — Я, кажется, нарушил одно из наших семейных правил. Назвал вещь её именем.

Сергей Сергеевич тихо рассмеялся. Смех получился по-

что естественным.

— Брат мой сегодня в мрачном расположении духа, Елизавета Петровна, — сказал он мягко. — Не принимайте близко к сердцу. Старые служебные истории имеют свойство обрастать словами, которые значат больше для тех, кто их произносит, чем для истины.

Елизавета посмотрела на него, потом на князя Алексея. Она могла бы промолчать, как требовали её положение и благоразумие. Могла бы опустить глаза, поблагодарить за участие, сделать вид, что не поняла. Но в этот миг перед ней встал отец — не больной, не униженный, не тот, каким он умирал, а прежний, сидящий за столом с книгой, говорящий ей, что правда не становится менее правдой оттого, что её произносят в неудобное время.

— Для истины, Сергей Сергеевич, — сказала Елизавета тихо, но достаточно ясно, — слова иногда бывают единственным оставшимся домом.

Отец Павел поднял на неё глаза. Соня смотрела испуганно и восхищённо. Мартынов впервые за вечер перестал казаться неподвижным: его пальцы чуть сдвинули нож у края тарелки. Княгиня Мария Павловна открыла глаза и долго смотрела на Елизавету так, будто та не ответила за столом, а переступила невидимую черту, о существовании которой её ещё не успели предупредить.

Князь Алексей Сергеевич ничего не сказал. Только угол его рта едва заметно дрогнул — не в улыбке, нет, но в при-

знании того, что новая компаньонка старой княгини оказалась не совсем той тихой женщиной, какую, вероятно, ожидали увидеть в доме Вяземских.

— Что ж, — произнесла наконец Мария Павловна. — Теперь, когда за моим столом помянули и истину, и оправдание, быть может, мы всё-таки вспомним о приличиях. Пелагея Степановна, велите подать чай в малую гостиную. Елизавета Петровна, после ужина вы проводите меня. Я желаю убедиться, что вы читаете так же твёрдо, как отвечаете.

Это было не одобрение. Но и не изгнание.

Разговор за столом возобновился, однако прежним уже не стал. Сергей Сергеевич говорил о погоде, отец Павел отвечал односложно, Соня молчала, Мартынов больше не поднимал глаз без надобности. Князь Алексей сидел рядом с матерью, ел мало и молчал так, будто своё главное слово за вечер уже сказал. Елизавета тоже молчала. Внешне она сохраняла спокойствие, но внутри всё ещё звучало то, что было произнесено при всех.

“Ваш отец умер, так и не дождавшись оправдания”.

Не соболезнавание. Не случайная фраза. Знание.

Когда ужин закончился и мужчины поднялись, княгиня оперлась на руку Пелагеи Степановны. Елизавета подошла с другой стороны, как ей полагалось теперь по обязанности. Мария Павловна на мгновение задержала её пальцы своими сухими, холодными пальцами.

— В моём доме, Елизавета Петровна, — сказала княгиня

очень тихо, так что услышать могла только она, — не всякое имя следует поднимать с пола, даже если кто-то нарочно бросил его вам под ноги.

Елизавета склонила голову.

— А если это имя моего отца, ваше сиятельство?

Княгиня не ответила сразу. По лицу её прошла тень, такая быстрая и глубокая, что Елизавета не успела понять, было ли это раздражение, страх или боль.

— Особенно тогда, — сказала Мария Павловна.

И, опираясь на её руку, вышла из столовой мимо портретов Вяземских, которые в свете свечей казались ещё более внимательными, чем прежде.

Глава 3. Человек под надзором

Утром Елизавета проснулась до того, как горничная постучала в дверь.

Сон был неглубокий, тревожный, с частыми пробуждениями от незнакомых звуков. В доме Вяземских ночью не было настоящей тишины. То скрипела где

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.